

ния современных французских философов. Я погрузился в чтение этих книг. Они были запрещенные, и я не мог брать их с собою в корпус, но зато по субботам до глубокой ночи я читал энциклопедистов, «Философский словарь» Вольтера, произведения стоиков, в особенности Марка Аврелия, и т. д. Бесконечность вселенной, величие природы, поэзия и вечно бьющаяся ее жизнь производили на меня все большее и большее впечатление, а никогда не прекращающаяся жизнь и гармония природы погружали меня в тот восторженный экстаз, которого так жаждут молодые натуры. В то же время у моих любимых поэтов я находил образцы для выражения той пробуждавшейся любви и веры в прогресс, которой красна юность и которая оставляет впечатление на всю жизнь.

Александр между тем постепенно дошел до кантианского критицизма. Письма его наполнились «относительностью представлений», «представлениями во времени и в пространстве, и во времени только» и т. д. Почерк становился все более и более микроскопическим, по мере того как возрастала важность предмета. Но ни тогда, ни впоследствии, когда мы целыми часами обсуждали кантовскую философию, брату не удалось превратить меня в поклонника кенигсбергского философа.

Моими любимыми предметами стали точные науки-математика, физика и астрономия.

В 1858 году, еще до появления бессмертного труда Дарвина, профессор зоологии Московского университета К. Ф. Рулье напечатал три лекции о трансформизме. Мой брат тотчас же ухватился за идею об изменчивости видов; но он не довольствовался приблизительными доказательствами, а занялся изучением специальных работ о наследственности и т. п. В письмах он сообщал мне главные факты, а также свои выводы и сомнения. Появление «Происхождения видов» не разрешило его сомнений по поводу некоторых специальных пунктов. Книга Дарвина только подняла ряд новых вопросов, которые побудили его заниматься еще с большим усердием. Впоследствии мы обсуждали - и наши обсуждения продолжались много лет - различные вопросы, касающиеся происхождения уклонений в видах, возможности передачи этих уклонений по наследству и усиление их. Короче, нас занимали те трудности в теории естественного подбора, которые были недавно подняты в научном споре между Спенсером и Вейсманом, в исследованиях Гальтона и в трудах современных неоламаркистов. Благодаря своему философскому и критическому уму Александр сразу заметил, какое важное значение для теории изменчивости видов имеют эти вопросы, которые тогда были недосмотрены многими учеными.

Должен я также упомянуть о временной экскурсии в область политической экономии. В 1858 и 1859 годах все в России говорили о политической экономии. Лекции о протекционизме и свободной торговле привлекали массу слушателей. Горячо, хотя и ненадолго, заинтересовался экономическими вопросами и Александр, который тогда еще не был поглощен всецело происхождением видов. Он прислал мне для прочтения курс Жана Батиста Сея; я прочел, однако, лишь несколько глав: тарифы и банковые операции не интересовали меня. Зато Александр увлекся всеми этими материями так сильно, что писал даже о них мачехе, пытаясь заинтересовать ее системой таможенных пошлин. Впоследствии, в Сибири, мы перечитывали эти письма. Мы хохотали, как дети, когда дошли до одного послания, в котором Саша горько жаловался на неспособность мачехи заинтересоваться даже такими жгучими вопросами и неистовствовал по поводу одного «меднолобого зеленщика», которого изловил на улице. Со многими восклицательными знаками Саша писал. «Поверишь ли, несмотря на то что он лавочник, этот болван со свинским равнодушием относился к тарифным вопросам!»

Каждое лето половина всех пажей уходила в лагерь в Петергоф. Два младших класса освобождались, однако, от этого. Таким образом, два года я проводил каникулы в Никольском. Оставить корпус, поехать в Москву и встретить там Александра было для меня таким счастьем, что я считал дни. Но раз в Москве меня ждало большое разочарование. Александр не выдержал экзамены и остался на второй год в том же классе. В сущности, он был еще слишком молод для специальных классов, но тем не менее отец очень рассердился и не позволил нам видаться. Меня это крайне опечалило. Мы уже не были детьми, и у нас много накопилось, что сказать друг другу. Я попытался отпроситься к тетке Сулима, в доме которой надеялся встретить брата, но получил решительный отказ. После второй женитьбы отца нам запретили ходить к родственникам матери.

В ту весну наш московский дом был полон гостей. Каждый вечер приемные ярко освещались, играл оркестр, кондитер приготовлял мороженое и печенья, а картежная игра в большой зале шла до поздней ночи. Я бродил бесцельно по ярко освещенным комнатам и чувствовал себя несчастным.

Раз ночью, после десяти, кто-то из слуг поманил меня знаком и шепнул, чтобы я вышел в переднюю. Я вышел. «Идите в людскую, - шепнул старый дворецкий Фрол, - Александр Алексеевич там».